

Филипп
РЕЗНИКОВ

г. Москва

ЗА НАСЫПЬЮ



Портрет неизвестной. 1868 г.
Художник
90 лет со дня рождения Ф. В. [?]
(1883—1998), советского писателя.

рассказ

И Ю Н Ь

Туристским маршрутом

К Каспийскому морю. Это первая
только одна — все остальное — маршрут
использовал для себя, но теперь
работал для тех, кто имел возможность
Минераловодского района. Поезд
шел в Рязань-на-Дону. Поезд
шел через Ставрополь, Геленджик,
и окрестности, в сторону Дзед
на — городе Микетское. В течение
путешествия экскурсанты проживают
2—4 дня в кемпингах и на турбазках,
когда же в достояние туристов
родов и курортов, посещают музеи,
совершают пешие прогулки по живопис-
ным высокогорным районам Кавказа.
Надоело запоминать экскурсии в Че-
гемский водопад, поездка к Голубым
озерам, в Довбай и Приэльбрусье,
подъем по канатно-кресельным дорогам
на гребень Мусса-Амгара и на засне-
женном склонах седого Эльбруса. По-
следнее в день — отдых на песчаных
пляжах, а также поездка экскурсан-
тов в музей в городе Мусса-Амгара.
Поездка в Мусса-Амгара и на засне-
женном склонах седого Эльбруса.
Поездка в Мусса-Амгара и на засне-
женном склонах седого Эльбруса.



Мама

И Ю Л Ь ПОНЕД

Воск. 1.44
Зак. 22.18
Долгота
Дня 17.32

13

Зак.
Воск.

1917

1975

— Хотела бы я те десять лет провести в беспамятстве, ох как хотела бы! Говорят, есть болезнь такая, что память отшибает. Вот бы кто передал ее мне, я бы по гроб жизни благодарила своего спасителя. Сильнее той муки, что я снесла, не придумаешь. Тяжелее испытания на долю материнскую не пошла. Была бы виноватая, знала, за что страдаю. А я не знаю. Кому плохо сделала?

Пройди к столу, открой нижний ящик. Что видишь? Одиннадцать, одиннадцать штук календарей! Прежде вон там, в простенке висели, а теперь убраны с глаз долой. Вон и точка черная в стене, где гвоздик торчал. Николай мой вбил: «Вот, мама, вешай сюда свои календари», — говорит. Это сразу как в квартиру въехала. Просторной казалась. Это теперь все равно что клетушка, точно камера. Будто бы меня саму приговорили ни за что, заточили. Хорошо, свет дневной льется, иначе ум давно тело покинул бы. А он, может, и покинул. Сумасшедшие ведают, что они сумасшедшие? Ты уж мне подскажи, тяжело мне в неведении жить.

Заселилась сюда по весне семидесятого. Николаше квартиру отдать хотела, ему нужней. У него жена, сынок. А он мне: «Живи, мама, радуйся». Я и радовалась. На новоселье мне календарь подарил. Я всегда их любила, только на столе держала. А он объяснил, что его на стенку вешать надо. Я и повесила. Каждый день листки обрывала. Встану у простенка и читаю. Знала, какой праздник сегодня, кто из членов Политбюро родился, какая продолжительность дня. Восходы знала, закаты тоже. И вроде ни к чему бабе такие сведения, да вроде как-то радостно благодаря им. Жизнь полнее, что ли. Коля как заглянет ко мне, так сразу удосуживается проверить, в порядке ли календарь. Традиция такая у нас завелась добрая. Внучок мой, Колин сын, значит, мал тогда еще был, а все к календарю ручонками тянулся. Коля подымет его повыше и держит, а тот глазенками хлоп-хлоп, будто сообщает. Ресничками моргает, а у меня сердце внутри прыгает — так он на Колю и на мужика моего покойного разом похож.

Открой, открой ящик, пересчитай календари. Одиннадцать их. От года, когда пришла беда, до года, когда правда раскрылась. Все собрала, все в стол сложила.

В семьдесят пятом все началось. И календарь есть. Лежит тринадцатым июля сверху. В тот день Николая арестовали. Забрали, увезли, заперопастили в самой темной камере. В тот день жизнь моя перестала. Десять лет тот календарь провисел, напоминая о страшном дне. На каждый год затем покупала да в стол складывала. Отщипнула от последнего, только когда настоящего убийцу поймали. Оборвала сначала первый лист, за ним второй. Остановилась. А потом, когда слезы глаза застили, принялась рвать их нещадно, пока до сентября не добралась. Это в сентябре мне объявили, что Николай ни в чем не виноват. Не виноват он, да не воротишь его.

Окна квартиры выходят на тихий переулок. Взглянешь направо, обнаружишь, где он кончается. Там дом стоит. Рядом разбит небольшой сад. Людей в нем не видно, но слышны из него громкие детские голоса.

Если же посмотреть в противоположную сторону, то увидишь широкую улицу и трамвайную остановку. Позади нее вход в библиотеку. На ступенях, подперев голову руками, расположился пионер. На коленях у него распахнутая книга.

На другой стороне дороги за мольбертом стоит художник. Можно решить, что он рисует читающего пионера. На самом деле он пишет церковный купол, выглядывающий из-за густых крон деревьев. Место это нередко привлекает художников, приходящих сюда за вдохновением. Некоторые приносят раскладные стульчики и делают наброски в альбомах, иные смело обращаются с красками, и проходящие мимо горожане им не помеха.

— Ты спрашивал, как мне эти годы жилось. Поганно. Другого слова не подберу. Да и не жилось вовсе. Что за жизнь? Мучение одно. Умереть хотела. Раз пошла к реке: всё, думаю, натерпелась. Прикидывала, как залезу на перила, как распрямлюсь да сигану вниз. И смешно стало: как я, баба такая неуклюжая, наверх заберусь? Представила, как кулем пытаюсь взгромоздиться — в голос смехом разразилась. Люди от меня шархнулись: мол, не в своем уме, видать. Да и пусть, что с того? Чего стыдиться?

Я десять лет людям в глаза смотреть не могла. Меня в лицо матерью убийцы называли. Мне и

ответить нечего. Отведу взгляд и стою как оплеванная, не смею ворохнуть. Вчерашние подруги врагинею заклемили. Телефон в квартире умолк навсегда. Поговорить не с кем. Хоть вой.

Каждое утро — испытание. Пока едешь в автобусе, ничего, а как приблизишься к проходной завода, ноги так и норовят увести меня подальше. Несколько раз потому опаздывала. Других бы, может, пожурили, а меня по полной программе чихвостили, выговоры строчили. Я и возразить не могу — вроде как бесправная сделалась. У меня на заводе свой уголок с конторкой был, куда не каждый взгляд достанет. Затаюсь какмышь и работу свою работаю, жду конца смены. Работала исправно, старательно, как и всю жизнь до этого, но теперь гудка об окончании рабочего дня ждала как чуда. Пять лет протянулись все равно что полвека, а затем меня на пенсию выпроводили. Без отчаяния на себя в зеркало смотреть не могла: до того отошала, как корова в неурожайный год, до того страшна стала, что впору лешему в невесты набиваться. Дочка говорила: «Надо жить», а я только руками развожу: «Для чего же, Ксенечка?»

Ей досталось не хуже моего. Знали, чья сестра. Детям ее в школе сверстники то и дело напоминали, что дядька их убийца. Как они перетерпели — ума не приложу.

Помню первый после Николаино ареста годоводный праздник на заводе: собрались с разных цехов — и простые, и руководители. Речи говорят, смеются. Скоро гудок — разбегутся по домам. Одна я тогда не побежала. Побрела по заснеженной дорожке к остановке, а как до дому добралась, так в постель ничком. Не сплю. Слушаю, как за стенкой соседи друг другу нового счастья желают. А ведь раньше это наш любимый праздник был: елку ставили, песни пели по полночи. Радостно было, весело. Куранты бьют, а я жмурюсь, словно в новую незнакомую реку вхожу и не ведаю, чего от нее ждать. Сижу, окруженная родными, и смеюсь, как дитя малое...

Меня тогда никто не поздравил. Так я на них из своего закутка и глядела. Не завидовала, куда там! Все думала, как там Коля мой. На свидания меня долго не пускали, говорили, мол, следствие идет. Следователь строго объяснял: «Обождите, мамаша, встретитесь еще». Как наше свидание могло следствию навредить?

Все обманом было: с первой до последней буквы. Началось все с ерунды. Николай иногда несдержан бывал, остер на язык-то, вот и повздорил с мужичком чуть не на улице. Сцепились, как два барана. Назло милиция проезжала. Забрали обоих. Мужичка того почти сразу отпустили, а Колю моего оставили как хулигана. Какой из него хулиган? Скажи кому из знакомых, не поверили бы. Тут и объявился тот самый следователь. Только взглянул на моего сына, так про себя все и решил. Ведут его на допрос, и уже не про хулиганку речь, а про убийство. Так, мол, и так, следователь ему предъявляет, подозреваетесь в убийстве такой-то гражданки. Это мне спустя годы рассказали, как дело было, а тогда до меня ничего не доходило.

Николай с самого начала на все обвинения отвечал, что никого не убивал, в указанном месте не бывал, о чем говорят, не понимает. А они, следователь и подголоски его, знай дело шьют. Свидетель убийства сыскался. Мутный парень, глаза у него все время как будто сонные были. На его свидетельстве да на выбитом из Николая признании дело и строили. Оговорил он себя, когда следователь посулил высшую меру. Только явка с повинной, говорит, поможет. Долго Николая ломали. Ломали-ломали и доломали. Виновники мои, так я следователя и судью зову, ни в чем на суде не сознались, когда их самих на скамью усадили. Уж как я хотела, чтобы они хоть толику того, что Коля испытал, пережили. Куда там! Под амнистию оба попали. Они ж люди видные, наградами осыпанные, начальством обласканные. К таким не подберешься. Но я все думаю: если уж на брежневского зятя управу нашли, отчего же на моих виновников справедливость не обрушилась?

Из материалов дела следует, что в мае семьдесят пятого Николай Юрчени около восьми вечера сошел с автобуса вблизи одной из областных железнодорожных станций. Присмотрев гражданку Вишневскую, ехавшую в том же автобусе, направился следом за нею. Оба шли безлюдной дорогой, ведущей через железнодорожную насыпь. По словам Юрчени, Вишневская не сразу заметила преследование и в первый раз обернулась только тогда, когда на-

чала подниматься по насыпи. Уже смеркалось, и Вишневская, по показаниям Юрчени, обратилась к нему, якобы приняв за кого-то из своих знакомых. Она назвала его Аликом, и он откликнулся на это имя. Стоя наверху насыпи, Вишневская подождала, пока Юрчени приблизится, и поняла, что обозналась.

Убедившись, что их никто не видит, Юрчени сильно толкнул Вишневскую, и та, споткнувшись о рельс, упала. Юрчени помог ей встать, перевел через пути и вновь толкнул. Вишневская потеряла равновесие и скатилась с насыпи в высокую траву, получив вывих плеча и ссадины по всему телу, установленные впоследствии судмедэкспертизой. Юрчени сбежал вниз и, не позволяя Вишневской подняться, принялся душить. Той удалось выскользнуть. Тогда Юрчени нанес ей удар кулаком в область виска, напихал в рот травы, чтобы Вишневская не кричала, и снова принялся душить. Затем, удостоверившись, что она мертва, забрал из ее сумочки личные вещи и кошелек с двадцатью пятью рублями. По поводу вещей Юрчени пояснил, что избавился от них на следующее утро, выбросив в окно своих «Жигулей» по пути на работу. Место, где сбросил вещи, Юрчени указать не смог. Свое преступление Юрчени объяснил намерением ограбить Вишневскую, потому что в тот момент нуждался в деньгах. Убийство же он совершил для того, чтобы потерпевшая не смогла его в дальнейшем опознать.

— Следователю я прямо сказала: быть того не может, чтобы Николай на чужое позарился, что это лганье на самого себя. Не так я его воспитывала. У него была хорошая зарплата, многие завидовали. На работе завсегда на хорошем счету. Трудился на совесть, дорогу никому не переходил ради своей выгоды. Не пил. Курил только. Он еще по малолетству начинал. Я, как узнала, по губам ему, по губам! Надолго охоту отбила. Потом уже в армии закурил. Тут я ничего не сказала — взрослый человек, сам соображает. При мне Коля никогда не закуривал. Стеснялся, что от него табаком пахло. А мне бы теперь тот его запах еще раз почуять! Прижмусь, бывало, к его груди, а от свитера его табаком крепко пахнет. Зашел как-то ко мне со снегопада, а на воротнике хлопья снежные. На усах тоже. От

самого папиросой пахнет — выкурил, значит, у подъезда. Пообещал однажды: «Брошу скоро. Спортом займусь».

Чужих денег ему не нужно было. Даже после армии, когда только устраиваться в жизни начал и Оксану свою повстречал, и тогда за помощью ни к кому не обратился. Попроси у меня, я бы ему мигом дала — у меня на книжке всегда про запас лежало. И сейчас лежит. Но черный день минул. Теперь на книжке гробовые мои. Дочка снимет, как помру. Я заранее попросила, чтобы возле нашей деревеньки схоронила меня, там, где они с Николаем родились. Мы ведь не сразу городские стали. Нам город что диво дивное был когда-то. Сейчас меня ничем не удивишь, а тогда и трамвая боялась. Теперь не страшусь. Все в жизни перевидала и пережила. И все больше несправедливости, обиды да горя. Это, может, другим везет и они больше со счастьем соприкасаются. Про себя такого не скажу, моя доля иная. Ты на мои руки погляди — пять шрамов, что борозды на поле. Знаешь, откуда?

Мне четырнадцать было, когда я в партизаны ушла. Деревню сожгли, отца невесть куда увели, а мы с мамкой к партизанам в леса подались, там мой дядька в командирах ходил. От меня многого не просили. Я мелкая не по годам была, ела что курочка: клюну пару зернышек — и хорошо. По ночам в землянке не спала, дремой перебивалась. И все мстилось мне, как деревня наша дотла выгорает. Одного хотела — отомстить. Так и сказала дядьке своему и товарищам его. Посмеялись надо мной попервости, но смекнули, что не шучу, взяли в бойцы. Мать не пускала — боялась, что убьют. Так война, говорила я ей, любой умереть может.

Каждого фашиста, которого прикончила, считала. И поныне их число помню, да не скажу. То война была, тогда люди были костяшками судьбы на ее гремучих счетах. Была у человека душа или не было — она не глядела. Знай шелкала счетами, мертвых от живых отделяя.

Хоть и была я юркая и неприметная, а все равно с другими в плен попала. На засаду нарвались, вот нас и скрутили. Думала — не переживу. К худшему приготовилась. Пережила, однако, сбежала ночью. Запястья у меня узкие были — из веревок выпуталась и дала деру. На

меня сейчас не гляди — другая совсем. Нет той девчонки, какой была.

Вечером накануне побега меня мадьяр мучил. Мадьяры хуже немцев были. Что с людьми творили — словами не передать.

Посадил меня перед собой. Не пытал, а так — развлекался со скуки. Возьмет в руки мою черную от земли ладошку и все чего-то разглядывает. Может, пытался нагадать, какая судьба предначертана. В глаза мне нежно заглядывал. Я небо молила, чтобы он поскорее кончил: снасильничал да прибил бы, а тело бросил где ему угодно. Лишь бы в покое оставил. А он все медлил, руки мои изучая. И вдруг выхватил ножик и давай их резать. Пять ран нанес и заржал. Язык у мадьяров грубый, некрасивый, и вот он на нем мне что-то сказал, харкнул мне в лицо, оттащил к сосенке и там привязал. Наверное, позже расправиться порешил. Я и улучила мгновение, от пут избавилась — и к своим побежала.

Жесткости много было, но время такое выпало на нашу долю. Так почему же в мирные дни жесткости чинили в отношении моего Николая? Вот чего никогда не пойму. Следовательно, виновник мой, для меня не лучше того мадьяра.

В комнате Валентины Васильевны прибрано и опрятно. На круглом столе, покрытом кружевной скатертью, стоит небольшая вазочка с карамелью. Рядом с нею газета с полуразгаданным кроссвордом и очки. В серванте, за стеклом, хрустальные фужеры, квитанции из сберкассы, ключик для подзавода настенных часов и засохшая роза. Поверх серванта фотографии в рамках и среди них портрет молодого мужчины. У него вытянутое лицо и заостренный подбородок. Глаза темные и глядят с фотокарточки слишком строго, словно хотят, чтобы смотрящий на снимок отвел взгляд. Рядом фотография семьи: тот же мужчина, женщина и мальчишка с игрушечным Чебурашкой. Чуть поодаль еще одна семья: женщина с двумя детьми разных полов. Это младшая дочь Валентины Васильевны.

Хозяйка застыла в своем кресле, приложила ладонь к лицу, совсем по-детски растопырив пальтерню, и прикрыла глаза. В солнечном свете, проникающем в окно, кружатся пылинки; ласковый летний ветерок легкими своими пальцами едва касается белоснежного тюля; под окнами

разговаривают двое: он немного на взводе, а она старается его успокоить.

На Валентине Васильевне зеленое платье в белый горох, на плечи накинута шерстяная кофта. Она то снимает ее, то снова набрасывает на себя.

— Как только услышала, в чем Николая обвиняют, я его прокляла. Сразу поверила, что он виноват. Уж сколько раз потом корила себя за это, до сих пор себя не прощу.

Милиция приехала ко мне на завод. Отвели в кабинет начальника, его самого выставили. Спросили, Юрчenea ли я, мать Николая Юрчenea. Кивнула. Я уже знала, что Колю по хулиганке забрали, но сразу почувствовала, что не из-за этого они ко мне нагрязнули. Худшее стала предполагать, оно и случилось. Тут же вывалили на меня без подготовки: ваш сын обвиняется по подозрению в убийстве женщины. Стали задавать вопросы. Отвечала механически, не соображая.

Как домой вернулась, не помню. Весь вечер пролежала в постели. Поднялась температура. Мерещилось разное. Уже и суд представился, хотя я в судах не бывала и не знала, как они выглядят изнутри. Провалилась до рассвета, не переставая думать о Николае и о том, что он натворил. Измучившись вконец, выкрикнула: «Будь ты проклят, изверг!» Только тогда и уснула.

Как я себя потом ненавидела за это проклятие, как винила, как себя принижала. Это ведь был единственный момент, когда я не сомневалась в преступлении. Уже наутро следующего дня была уверена: не совершал Николай злодеяния, не мог просто. Он хороший человек, добрый, не жестокий. Маленький был, всякую животинку-скиталицу в дом тащил, выпрашивал: «Мама, папа, давайте возьмем?» Заступался за всех несправедливо обижаемых товарищей, даже если обидчик был сильнее него. Бывал бит, но зато без зазрения совести мог сказать про себя, что не остался в стороне, пришел на выручку. За то уважаем был. Он, как и я в детстве, долго маленького росточка оставался. Все не бурлил в нем гормон роста и не бурлил. Только классе в девятом вверх потянулся и вымахал будь здоров. Вот эту самую люстру всегда обходил, иначе задел бы макушкой. Мужик мой тоже высокий был, но Коля,

наверное, все же повыше. Не довелось им рядом постоять — мужика рак рано унес. Коля в пятом учился, а Ксения дошкольничала.

Я в ноги следователю кидалась. Веришь, целовать его обувь могла бы. А он мне: «Встаньте, мамаша, с колен, люди увидят». И пусть бы видели. Какой тут стыд, когда мать за сына просит? Кто мне ответит, где те люди были, когда он из Николая признание выколачивал. Где попрятались? Сломил моего сильного сына, уничтожил.

Следователь-то чистенький весь, не придерешься. Лицо круглое, лоснится. Ухоженный. Знать, жена каждое утро мундир ему оправляла-отряхивала. Седой уже, Коле в отцы годится, а змея такая, что, коли затаится под колодой, так расколет ее, как выползть станет.

Люди говорили, что Коля две недели не поддавался. Отвечал, что невиновен и в указанный вечер был в городе. Жена подтверждала: пришел, как всегда, с работы, с ребенком уроками занимался. Вот и весь сказ. «Жена и алиби — вещи несовместные», — так якобы следователь заявлял и смеялся. А может, и не смеялся и это потом при сочинили. Через две недели Коля сдался. Сказал ему следователь: не сознаешься, мол, лоб зеленой помажем, а жену, тебя покрывающую, тоже под суд отдадим. Ясное дело, при таком раскладе сыну малолетнему одна дорога — в детдом.

Что бы вы на Николашином месте сделали бы? То-то и оно.

Он свой выбор совершил. На свидании сказал мне: «Суд разберется». Как же, разобрался! Постановил — к высшей мере. По сто второй приговорили, значит. Никакой мягкости, следователем обещанной. Судья с ним как будто заодно стал. Неужто она не видела, что невинный человек перед ней на скамье сидит? Да она бы просто в глаза ему заглянула бы — сразу усомнилась бы в вине, которую он на себя поневоле взвалил. Куда там!

Вот, знаешь, рот сейчас у меня пересох, чик-в-чик как на суде. Язык к небу прилип, губы слиплись. Хотела я что-то выкрикнуть, да только сип через губы едва продрался. Никто его не услышал. А мне бы хотелось, чтобы каждый в ту самую минуту на меня внимание обратил.

Когда приговор огласили, Николай на меня глаз не поднял. Он вообще вокруг не смотрел. Когда выводили его, я пыталась ему знак по-

дать, чтобы он только поглядел на меня. Не дождалась...

В коридоре мне так дурно сделалось, как никогда прежде не было. Никто не подошел. Чужие люди вокруг были. Мать убийцы — вот кто я для них. Виновна только потому, что мать. Сидела я одинешенька, никто не приблизился, словно проказой я вмиг покрывалась. Посидела-посидела, тошно переборолась, побрела куда глаза глядят. Шла и чувствовала себя древней старухой, у которой ни в одном члене мощи нет. Руки точно на ниточках болтались — не поднять. Ноги еле по земле волочились — не переставить как следует. До сих пор в ушах звук собственного шарканья по асфальту. Добралась до парка, на фонтан села, воды горстью зачерпнула и напилась как следует. Вода холодная, с гнилым каким-то привкусом, а мне все равно — лакаю, как собака, от жажды подохнуть готовая. Поднимаю глаза на людей в парке, и все мнится мне, будто каждый с осуждением на меня смотрит. Понимала, что они меня знать не знают, но все равно всеобщее презрение ощущала.

Валентина Васильевна поднимает руку. На безымянном пальце простенькое золотое колечко в память о муже. Она загибает один палец, за ним второй и третий.

— Вот сколько свиданий нам дали. В последний раз сына не узнала. Глаза мертвые, брови над ними нависли. Щеки впалые, точно не ел давно. Одежда на нем страшная, мешковатая, вся в полосу. Наговоримся, думала, обо всем расскажу, что на сердце. А язык как отсох. Может, и к лучшему. Для чего ему новости оттуда, с воли. Там ведь тоже нам всем не сахар. Не стала упоминать, что сыну Колиному житья не дают в школе — тычут в него пальцем. И не скроешься никуда от мучителей, из школы не сбежишь. Я уж говорила Оксане, чтобы в другую перевела. Но какой с того толк, и там житья не будет. Коле тогда соврала: сказала, что нормально все, что учится сынок примерно, отметки хорошие носит. Соврала, взяла грех на душу.

Потом я спросила его: «Тебе страшно?» — и он ответил, что страшней не бывало. Жутче всего, говорит, то, что не знаешь, когда приго-

вор в исполнение приведут. «Не обижают?» — спрашиваю. «Нет такого, но и не обласкан. Я тут сам по себе, — говорит. — Холодно. Иной раз согреться не могу. От стенок словно льдом тянет — не укроешься. Одеяло тонкое, не обогревает. Но это ничего, — говорит, — холод могилы посильнее будет».

Мне в то мгновение показалось, что он улыбнуться попытался — как-то нервно дернулась губа. Я все ждала улыбки, а он молча смотрел мне в глаза, точно наглядеться не мог. Он смотрит — я плачу.

Конвоир объявляет: «Заканчивайте, гражданка». Коля поднимается и говорит: «До свидания, мама». Трижды повторил. Стоит он передо мной, взрослый мой сын, а я вижу того Коленку — с карточки, что в школе сделали. Что за отпущенный жизненный срок — тридцать лет? Свечка, и та дольше горит, чем жизни моему сыну отпустили.

Больше я Колю никогда не видела.

За окнами яркий полдень. Город живет: катят себе трамваи, идут по делам люди. Солнце блестит на церковном куполе. Пионер все еще сидит на библиотечных ступенях, но уже не читает, а пишет в тетради. У дверей библиотеки курит молодая женщина.

Волочет за собой тележку старуха. За ней увязался пес. Но не бродячий, а с ошейником. Ему хочется выпросить чего-нибудь. Старуха оборачивается и отваживает навязавшегося спутника: «Иди, иди к своим. Овощи не про твою честь».

Валентина Васильевна, только что выходящая, возвращается со стаканом кипятка. На дне два кубика рафинада, которые она медленно помешивает ложечкой. Не дожидаясь, пока они растворятся, она делает глоток подслащенной горячей воды, ничуть, кажется, не обжигаясь.

— Вы, конечно, знаете, как настоящего душегуба поймали. Я тогда сразу собралась и поехала к моему виновнику в прокуратуру — к следователю. Хотела в лицо ему поглядеть и спросить, за что же он сына моего уничтожил. Приехала. Долго не принимал. Сначала говорили, что нет на месте. Буквально дверь перегородили: нет его здесь, и вам ходу нет. Я решила на своем стоять. «Что же вы преступника выгора-

живаете?» — спрашиваю их. Молчат. Три часа времени под дверями его кабинета провела. И когда ему уже по нужде приспичило, тогда только выглянул. «А, — говорит, — Юрченья? Погодите. Сейчас приму, сейчас!»

Долго мы потом с ним беседовали, до новых суток. Всего, что наговорил мне, уже не помню. Напирал на то, что все мы люди и следствие ошиблось. Хотя, говорит, какая наша тут вина, если он сам во всем сознался, сам всех в заблуждение ввел? Мне, говорит, перед вами извиняться не за что. Я отвечаю: мне твоих извинений и не надо. Знаю, что отвертеться хочешь. Не выйдет! До суда доведу! И тебя, и судью, что приговор выносила. Кричу на него, голос срываю, а подспудно рассуждаю: «А какая мне с того радость? Вернет это Колю разве?»

Тогда же, когда Николая посмертно реабилитировали, я потребовала, чтобы мне останки вернули. Я так решила: похороню на тихом кладбище близ нашей деревеньки. Там покой. Теперь ему покой только и нужен. Место тихое, только птицы щебечут да ветер деревья качает. Сосны стоят древние, так они скрипят шибко. Вдруг среди тишины скрип на весь окрест — жути нагоняет. Я кладбище-то не боялась никогда, да и мертвяков тоже. В войну столько их в землю сложила, не перечешь. И своих, и чужих, и знакомых, и посторонних.

На первый мой запрос ответа долго не было. Знала я, что их братия не скоро зачешется, потому выжидала. По утрам исправно к почтовому ящику — нет ли письма какого или извещения. Ничего не слали. Снова запрос подала. Обещали помочь. Шло время. Восемь месяцев как душегуба этого взяли, а я все сиротой сидела — без останков моего Коли. Где они его задевали, где закопали? Мысли разные приходили: и что в могилу братскую бросили и теперь не знают, как от меня отбрыкаться. Но я в себе силу почуяла, твердо решила дело до конца довести, чего бы мне это ни стоило. Постояю за сына в последний раз, коли десять лет назад не сумела. И не спрашивай, могла ли я тогда беде помочь. Не могла. Ни слезами, ни уговорами, ни письмами. Следователь решил, что виноват Николай, — не переубедишь. А тут и сам Николай ветвей в костер подбросил своим признанием. Заполыхало...

Это только потом мы узнали, что Коля не один такой был, что следователь тот под статью десяток человек невиновных подвел. Всех их выпустили, кто к тому моменту не успел срок отбыть. А Колю одного расстреляли.

Следователь награды за раскрытия получал, а мы горе мыкали. Чтоб ему и в этой, и в последующей жизни пусто было! Чтобы пристанища он себе нигде найти не мог, чтобы черти его на куточки разодрали! Нехорошо так говорить, но не могу иначе. Ты уж меня пойми. Только ненависть к этому человеку и есть. К нему и его подгослкам, что людей невиновных виноватыми выставили, жизни им переломали. Иные говорят, что победила наконец справедливость. А что за победа такая? Кто годы отнятые возвратит? Кто их родным прежними-то вернет? Нет прежних людей в числе тех, кто из тюрьмы вернулся. В этом у меня сомнения никакого. И если бы мой Коля вернулся, каким бы он сейчас был? Часто о том думаю, когда не сплю ночами. Доктор снотворное выписал, а оно меня не берет. Думки сильнее лекарств.

Вызвали наконец в марте месяце. Хорошо помню: день серый, небо тучами заволочено, дождь припускает. Приезжаю. К сожалению, говорят, останки вашего сына вернуть не можем, потому что перед расстрелом он был вывезен из города. Куда вывезен? Сердце у меня злобой наливается. Сказать не могут — не знают. Как же так, спрашиваю, куда увезли? Ноги подкашиваются, сажусь на пол да так и сижу. Тут эта женщина, что со мной говорила, деньги достает. Возьмите, говорит, триста рублей. Это за одежду, что на нем была, когда его арестовали. Большие деньги протягивает. Николай никогда дорогих вещей не носил. Только вот тут распишитесь, просит она. Не захотите себе брать, так отдайте нуждающимся. В церковь снесите. Я в церкву, отвечаю, больше ни ногой — нет бога, теперь уж точно убедилась. Разве мог он допустить подобную несправедливость? Чем мы его прогневали? Нет бога. Закаялась я в церкву ходить, повторяю. Сама плачу и все еще на полу сижу. Не взяла я тех денег, убралась несолоно хлебавши... И снова запросы пишу: третий, четвертый, пятый. Впору уж остановиться, а я надеюсь на что-то. И у нас в Витебске все пороги обила, и в Минске была, и в Москву

отправлялась. Везде меня принимают, кругом сочувствуют, а поделать ничего не могут. Тогда я и раскусила всю эту систему, которая карать умеет, а исправлять — нет. Плюнула я на все, говорю тем людям: не нужно мне останков, вы, чего доброго, чужие мне дадите, вам совесть не запретит. Только покажите мне, где Колю зарыли, и я тотчас отстану. С того места я землицы возьму да на родину отвезу. Землицу и похороню. Где там... Даже этого не открыли.

Отчаянно я поступила: сочинила письмо Горбачеву. Все-таки он всей страны батька. Рассчитывала, что поможет. Изложила свой вопрос яснее и короче, чтобы много времени на меня не потратил. Не ответил Михал Сергеевич. А я, знаешь, конверт выбрала красивый — с Кремлем на картинке. Глупая баба, дурная. Надежда, говорят, умирает последней. Иногда думаю, неправда это, ведь я свою надежду уже пережила.

Женщина устала рассказывать. Магнитофон продолжает писать молчание. Чуть слышно поскрипывает ролик в лентопротяжном механизме, медленно крутится катушка. Наверное, следует прекратить запись, но кажется, что Валентина Васильевна не все досказала.

Она приподнимается в кресле и щелкает выключателем на телевизоре. Сначала появляется звук, затем понемногу светлеет экран кинескопа. Картинка дергается, и Валентина Васильевна двигает рожки антенны, установленной поверх аппарата. Передают концерт классической музыки. Она прислушивается к мелодии, но, вероятно, так ее и не узнав, теряет к происходящему интерес.

— Я «Утреннюю почту» люблю. Часто смотрю. Юра Николаев приятный человек. Нравится его слушать. Только музыка с каждым годом хуже. Итальянцы еще прилично поют, а наши... И рядятся кто во что горазд. Неприятно.

Я от себя, знаешь, не ждала такого — ноги сами в церкву привели. Было это, значит, спустя два года, как Колю реабилитировали. Я все еще боролась, чтобы землю с места его захоронения мне отдали. Это сейчас я от государства ничего не жду — смирилась.

Вхожу в церкву: красиво внутри. Уже и забыла я про ту красоту. Голова закружилась. И покой —

покой кругом! Умолкла вдруг внутри раздраженная, обиженная душа, ныть и стонать перестала. Я на скамеечку опустила и сажу. Спыхватилась — с непокрытой головой пришла. А что делать? Сняла кофту с себя, покрыла ею голову. Хоть так.

У алтаря — батюшка. Я его по прежним временам помнила. Хотела обратиться, да передумала. Что я у него спрошу?

Долго просидела. Ждала, а вдруг снизойдет на меня понимание, как жить дальше. Не случилось. Значит, не заслужила. Сама от бога отвернулась, чего ж ему теперь меня наставлять? Слово комом в горле стоит и не вылетает. Я на иконы гляжу, на святых, на Богоматерь — и слова молвить не могу. До того смущена перед ними. Застряло у меня внутри «прости» — не вытащишь. Хотела перед богом повиниться, а сама чувствую, как бес меня дергает за какую-то ниточку и шепчет: «Тебе ли перед ним извиняться?»

Так и ушла в тот день. Мысли мрачные, жить не хочется.

Что-то повело меня назад на следующий день. Проснулась поутру, не позавтракала, не расчесалась как следует, косынку накинула, чтобы не простоволосой идти, и туда. Тут недалеко, сам знаешь. Видать церкву из моего окна.

Хоть и недалеко идти, а путь показался вечностью. Точно на Голгофу собственную взбиралась. Взобралась. Дверь отворила и очутилась в церковном полумраке. Ну, думаю, если не произносится у меня нужное слово, так хоть свечку поставлю. Затешила одну за упокой мужика своего, другую — за здоровье Николая...

Не гляди удивленно. Не верю я, что сын мой расстрелян. Никто мне этого по сию пору не доказал. Я просто рассуждаю: коль нет останков, значит, никто его не хоронил. А если не похоронен он, стало быть, жив где-нибудь. Я в прокуратуру ходила. Там меня успокоили: мол, точно расстреляли, у нас в таких вещах ошибок не допускается. Бумага имеется. Я их карту своей крою: тогда предъявите матери бумагу, по которой сына ее в землю положили. Руками разводят. Нет у них, что ль, такой бумаги? Должна быть. Они всему учет ведут: прибыл, убыл...

Как-то сон мне был, что Николай домой возвратился. Открываю дверь — стоит на пороге. Не

сразу его признала, по голосу только. Лицом черен, страшен. Прошел он в квартиру, присел на краешке дивана и сидит. Я его ну расспрашивать: где, сынок, был, отчего так долго не приходил? Он помолчал и отвечает: спасибо скажи, что вообще пришел. Не пускали меня. «Кто, сынок?» — «Они». — «Да кто они-то?» Выпытываю по словечку. «Жители подземные», — говорит. Я так и ахнула. «Неужели ты из-под самой из-под земли ко мне прибыл?» — «Оттуда, — отвечает. — Ты, мама, больше меня не ищи, не жив я. Не жив, — прибавляет, — но и не мертв, потому что нет мне покоя и никогда не будет».

На том я и проснулась. Чувствую: недослужала я Николая. Пытаюсь снова уснуть, чтобы продолжилось сновидение, а оно больше ко мне не идет. Все картины какие-то на другие темы. Не увидела больше сына, умолк его голос навсегда.

Ты уж выключай свою аппаратуру. Наговорила я тебе лишнего. Распространилась больше нужного. Ты уж про сны мои речи сотри. И там, где я нехорошо про государство отзываюсь. Погорячилась. Мне проблем на старости лет не нужно. Что про себя думаю — другим знать необязательно.

Я останавливаю запись и ставлю пленку на перемотку. Отключаю микрофон и сматываю длинный черный провод.

Валентина Васильевна подходит к столу и достает из нижнего ящика отрывной календарь за текущий год. Она уточняет у меня, какое сегодня число, и принимается вырывать листки с просроченными датами, пока не добирается до нужного дня. Из стола же достает тонкий, чуть погнутый гвоздик и вставляет его в темное отверстие в простенке, вешает на него календарь. Отойдя на шаг, рассматривает, склонив голову набок.

— Не стирай записи, как я только что попросила. Оставь. Покажи их людям, пусть знают. Ведь это с каждым случиться может.

Сочувствия к себе я не хочу. И Николаю оно не поможет. Хочу, чтобы люди правду узнали. Расскажи им, что бывает в жизни такое, когда она становится не дорожке оторванного календарного листка. Пусть такого ни с кем не случается.



Сносили старый дом на пересечении Маркса и Советской. Два этажа, восемь квартир, высокое деревянное крыльцо с зеленым навесом. Вокруг дома, как стражи, деревья, скрывавшие его от посторонних глаз. Стоял себе и стоял, как вдруг для жильцов весть: грядет выселение. Стали узнавать, что да как, и выяснили: вырастет на месте дома современный торговый центр с множеством уютных магазинчиков и кинотеатром на верхнем этаже. Появится на крыше обзорная площадка, и каждый поднявшийся на нее сможет окинуть взглядом город, растянувшийся вдоль реки на несколько километров, разбросавший свои строения по большим и малым холмам, дотянувшийся одной своей стороной до лесистого взгорья. По не слишком широкой, но глубокой речке проходят медлительные теплоходы и несутся резвые катера; движутся нерасторопные баржи, груженные щебнем и гравием, извлеченными из карьеров на востоке.

Хорош и красив город в ясную погоду, но стоит только небу затянуться тучами, стоит туману подняться над речной водой, как картина преобразается. Из идиллической она превращается в мрачноватое полотно, изобилующее серыми и черными пятнами. Падает дождь — и город размокает: яркая акварель стирается, сменяясь резкими штрихами, начертанными углем. Неизменен лишь лес на северном взгорье, холодно темнеющий вдаль.

Возник сносившийся дом на бойкой в те времена улице в качестве дома доходного. О том, какие съемщики в нем квартировали до революции, не расскажут, пожалуй, и дотошные краеведы. Что же касается нынешних жильцов, досидевшихся до последнего и все еще не выехавших на новые квартиры по предоставленным ордерам, то об отдаленном прошлом здания, выстроенного, как говорят, по проекту какого-то немца, знают они немного. Разные люди населяли квартиры бывшего доходного дома, и у каждого своя судьба, о которой можно было бы порассказать.

Петра Авдеева, проживавшего на втором

этаже, прошлое интересовало настолько, насколько оно занимает тех, кто вынужден постоянно печься о делах насущных, работать от звонка до звонка и посвящать некоторое время ночному отдохновению.

Квартира перешла Авдееву от родителей, а до того принадлежала деду, отцу его отца. Мать была из области, из рабочего поселка. Ее Авдеев помнил плохо — она скончалась, не дожив до тридцати пяти, и его воспитанием занимались дед с отцом. И тот, и другой учили юного Петра уму-разуму, и каждый по-своему. Часто мнения воспитателей не совпадали, и тогда о ребенке в разгоравшемся жарком споре забывали, и он оставался предоставлен самому себе. Сколько младший Авдеев помнил, дискуссии заканчивались одинаково: на столе как бы сама собой возникла водочная бутылка, каждый из мужчин выпивал по две стопки — «для успокоения», и про спор забывалось. К этому часу обыкновенно Петр успевал справиться с уроками и, почитав что-нибудь на ночь, укладывался спать.

Известие о том, что дом будет расселен, а затем и снесен, Авдеев принял поначалу стоически: чему быть, того не миновать. Через несколько дней, однако, разнервничался, не готовый прощаться с родными стенами, среди которых протекла его жизнь, поругался с женой, утверждавшей, что новая квартира всяко лучше, нагрубил сыну Андрею, обрадованному, что его личная комната в новом доме просторнее и светлее той каморки, где он ютился доньше, ушел из дома и бродил, пока не стемнело и не позажигались уличные фонари.

По возвращении в квартиру, где, по его чувству, все уже приготовились к переезду, хотя ни одна вещь не покинула своего обычного места, он расстроился еще больше. Сел на кухне, налил себе стопку водки «для успокоения» и закусил соленым огурцом. По желудку разлилось жгучее умиротворяющее тепло, глаза заслезвились от удовольствия, и Авдеев зажмурился.

Первым делом ему представилось, как из подъезда выносят гробы: сперва с дедом, затем с отцом. Оба умерли по весне, в начале мая. Дед — в дождливый день, отец — в ясный и солнечный. Авдеев провожал деда, повязав пионерский галстук. Белая рубашка насквозь вымокла, недавно купленные туфли пропустили воду, и она

неприятно и громко чвакала внутри. На похороны отца Авдеев облачился во все черное, только рубашка была темно-синей. Пока он стоял у могилы, ему припомнилось, как некрасиво чвакали туфли на прощании с дедом. Стало немного стыдно, и Авдеев покраснел.

Предстала перед ним и другая картина. Раннее утро, в руках у Авдеева булка мягкого хлеба. Хочется отщипнуть кусочек и сжевать. От одной только мысли слюнки текут. Авдеев знает: хлеб щипать нельзя — дед в этом отношении строг. Булку следует сперва положить на стол и разрезать большим ножом. «Твое детство не голодное, — говорит дед, — ешь за столом, как порядочный человек». Авдееву, по правде, на порядочность плевать — хочется поступить наперекор и ущипнуть булку посильнее, вырвать кусок посольднее. Из щепотки есть всяко вкуснее, душистее. Сев на лавку под каштаном в двух шагах от дома, он щиплет хлеб, и к упавшим на землю крошкам слетаются воробьи. Они кричат друг на друга и вступают в драку. Авдеев крошит хлеб перед птицами — они для него точно гладиаторы на арене из книжки Джованьоли.

«Совсем обалдел! — с этими словами дед хватается мальчишку за ухо и с силой приподнимает с лавки. Воробьиная стая разлетается в мгновение ока. — С кем еще поделишься? Может, с Гурьяновыми?»

Гурьяновы проживают на первом этаже. Для всех они что-то вроде отщепенцев. Отец семейства пьяница, его супруга — болезненного вида женщина с желтушным лицом. Старший сын служит во флоте и не появлялся в городе два года, у младшего вторая ходка. В первый раз Степан угодил в колонию по малолетке, по глупости, можно сказать. Во второй раз все оказалось куда серьезней — воровал детали с завода, где работал, а краденое сбывал. Вычислили. «Попался!» — радовался дед аресту соседа. Дед любил только честных людей.

С горящим ухом Авдеев возвращается домой и кладет на стол хлеб с недостатчей. Хмурый отец определяет наказание — два часа в углу, без книг. Иногда Авдееву удается упросить дать ему в ссылку книгу, но сегодня не выходит.

В углу стоит старый растрепанный веник. У него особенный запах — от него тянет чихать. Авдеев чихает раз, другой, третий.

«Не прикидывайся больным, — сердится дед, — не разжалобишь».

Авдеев наблюдает за пауком, спускающимся с потолка: только бы не на голову, только бы!..

Дед читает газету возле окна. Газетный лист просвечивает насквозь, и мальчик, стоящий в углу, искренне не понимает, как так можно читать, — ничего не разобрать, буквы накладываются одна на другую. Он замечает, что дед не надел очки, а без них какое чтение? Стало быть, дед притворяется. Загадочное поведение деда заставляет Авдеева позабыть недавние обиды. Теперь он зорко следит за происходящим, хоть ему и приходится наблюдать за всем вполоборота и так, чтобы дед не заметил, что он вертится.

Отложив газету, дед протягивает руку к столу, где стоит чашка с чаем. Он долго шарит пальцами в воздухе и никак не может ухватиться за ручку. Движения деда кажутся Авдееву забавными. Ему даже нравится, что у того ничего не получается. А нечего было таскать за ухо на виду у всего двора!

Когда же дед наконец достает до чашки, то задевает ее неловким движением и опрокидывает на пол.

Авдееву не до смеха. Дед, кряхтя, опускается на колени и собирает осколки. Чтобы отыскать их, он как-то странно, по-птичьи двигает головой, словно ему лучше видно, когда он смотрит периферическим зрением. Странность эту подмечает вечером и отец. Наутро деда срочно везут в больницу, где у него обнаруживается какое-то серьезное глазное расстройство. Спустя две недели дед возвращается в дом. На столе булка хлеба — целая, не тронутая мальчишкой. Авдеев надеется, что дед оценит его долготерпение. Но дед вовсе не замечает хлеба. Дед ослеп.

О том, как тяжело и подчас невыносимо жить рядом со слепцом, Авдеев так толком ничего и не узнал. По возвращении из больницы дед не проронил ни слова, объятый своим горем, и через пять дней скончался во сне. Снова на столе красовался свежий хлеб, но дед к завтраку не поднялся.

Сейчас Авдеев точно знает, отчего дед не вынес удара: за долгую свою жизнь он привык, что глаза ему послушны и всегда точны. Три десятилетия он славился как лучший городской часовщик: он не только остро слышал, но и четко ви-

дел время. Для него оно было не абстракцией — время являлось точным механизмом, состоящим из рычажков, шестеренок, пружин и стрелок.

* * *

Проживавшая под Авдеевыми бабушка Августа новость о выселении почла за смертный приговор. Незачем ей было покидать обжитые стены; недоставало сил собрать скромные пожитки, большую часть которых составляли вещи куда более древние, чем она сама. В диковинных шляпных коробках, изящных деревянных шкапулках хранилось главное ее богатство: старинные письма и фотографии. Был даже дагерротип середины девятнадцатого столетия, запечатлевший какого-то ее родственника. Он был одет по-летнему и держал в руках удочку.

Письма и фотокарточки Августа извлекала на свет по особенным случаям: в день собственного рождения и в день памяти матери. Безымянные фотографии запечатлели мать молодой, в самом расцвете сил — и теперь Августа помнила ее только такой, хотя та дожила до преклонных лет. Других фотокарточек матери не было — после тридцати она решила, что подходящее время для фотографирования вышло и ни к чему оставлять память о том, как увядала и таяла ее молодость, обращаясь не самой приятной и привлекательной старостью.

Мать Августы болезненно реагировала на разговоры о возрасте, каждый раз переводя их на другие предметы. Она даже день рождения никогда не праздновала. Не вспоминала о нем теперь и Августа, предпочитая обращаться к карточкам матери только в день, когда та ушла из жизни.

Квартира Августы на первом этаже представляла, скорее, музей, нежели жилым помещением. Даже мебель стояла так, словно была экспонатом на выставке. Складывалось ощущение, что дверцы шкафов давно не открывали, а вещи, хранившиеся в них, не использовались. В квартире царил образцовый порядок: пол всегда идеально подметен, пыль с предметов вытерта, бежевые занавески на окнах источают чуть слышный аромат мыла. Откуда у Августы брались силы на поддержание чистоты, оставалось гадать.

Кровать, в которой хозяйка проводила большую часть времени, располагалась в маленькой

комнате и отгораживалась ширмой. На ширме изображались сценки из «Тысячи и одной ночи». Работа тонкая, изящная, дореволюционная. Были на ширме и обнаженные женщины, и волновавшие воображение сюжеты. Сама Августа настолько свыклась с ними, что не придавала им никакого значения. Если кому-то и доводилось увидеть ширму, скажем, врачам скорой помощи, Августа немало удивлялась, чем это они так поражены при взгляде на представленные картины. Чуть слышно покашливая, она посмеивалась и приговаривала: «Таково мое наследство. Что дали, то взяла...»

Вскоре по получении известия о неминуемом переезде Августа поднялась на верхний этаж. Немошная рука не дотянулась до звонка Авдеевых, и старуха стукнула по двери набалдашником трости. Звук переполошил усевшиеся за ужин семейство.

Августа попросила позволения войти, прошла в кухню и села на табуретку, стоявшую в углу, на удалении от стола.

— Вы кушайте, кушайте, — произнесла она, — я не помешаю.

Какое-то время она провела в молчании, уставившись в распахнутое настезь окно. Крыши домов под холмом окрасились марганцевым отблеском заката. С улицы веяло душным жаром летнего вечера. О чем-то ворковала с птенцами ласточка, свившая гнездо под самой крышей.

— Я отсюда никуда не поеду, — сообщила Авдеевым старуха, — пусть сносят вместе со мною.

— Как это? — переспросил Авдеев, опуская ложку обратно в суп.

— Я здесь родилась, здесь и помру.

— Это вряд ли, — заговорила жена Авдеева, Галя. — С вами не снесут. Быстрее вынесут вас отсюда под белы ручки, на траве положат, вот тогда и...

В любой ситуации Галя оставалась реалисткой, потому что смотрела новостные программы по телевидению и знала, какова на самом деле жизнь. А жизнь, по ее убеждению, была штукой противоречивой, полной хороших и плохих людей, добрых и злых, а по большей части равнодушных к чужим бедам и страданиям.

— Спасибо, детка, успокоила. — Августа постучала тростью по деревянному полу. — Но не жаловаться я пришла, — заговорила она быстрее

обычного, для того, вероятно, чтобы побыстрее со всем расквитаться. — У меня много разного хлама. Возьмите себе, если что нужно. Даром мебель заберите, а меня избавьте.

У Авдеева сердце так и подпрыгнуло — от такого грех отказаться.

— Спасибо, Августа Моисеевна, — поблагодарила Галя, — но нам ни к чему. Мы и свою-то оставим, пусть дают вместе с домом на здоровье. В новую квартиру приобретем новую мебель. Правда же? — Она строго поглядела на мужа, у которого снова сердце дернулось в груди. В этот раз неприятно.

— Не торопи события, погоди. Сразу всего не купим, что-то из старенького прихvatим.

— Ты же сам говорил, что жизнь требует обновления! — напомнила супруга.

— Так-то да, но...

— Так я и знала, так и знала! Всегда у тебя найдется какое-нибудь «но».

— Время-то неблагоприятное, — попытался успокоить ее Авдеев, — умеренность во всем нужна, осмотрительность.

— Хоть бы раз сказал иначе. Когда ты жил по-другому, без этой своей умеренности? Только и слышу от тебя: сэкономим, побережем, предусмотрим.

— И сколько раз я оказывался не прав? — уточнил Авдеев.

— Ладно вам браниться, — примирительно сказала Августа, но на нее уже не обращали внимания.

— В девяностые, помнишь, как жили? Что жили — выживали!

— Бобылева ни за что убили, — вздохнула Августа, вспомнив одного из соседей.

— Так уж и ни за что? — удивился Авдеев. Энергия негодования, сообщенная ему супругой, требовала выхода. — Как был бандитом, так до последнего им и остался.

— Брось ты, Петя, в тюрьме-то он исправился. Делом стал заниматься. Как его кличут? Бизнесом.

— Бизнес у него весь на крови был, — заявил Авдеев.

— Да почем тебе знать...

— У таких, как он, иначе быть не может. Вот и замочили, когда дорогу кому-то перешел. Я уж хорошо помню, как его мозги по асфальту рас-

теклись. Вот здесь, перед самым нашим крыльцом. Неужели запамятовали? Сами же в окно выглядывали и за занавеской прятались.

Галя поднесла мужу бутылку. Тот налил стопку и выпил для успокоения. Теплая водка, стоявшая до того на полке над плитой, неприятно ожгла желудок. Авдеев поморщился, навернул пару ложек остывшего супа и смахнул с ресниц набжавшую слезу.

— Напраслину возводить ты горазд. — Августа издала губами странный чавкающий звук. — Я Бобылева на руках держала, нянчила младенчика, можно сказать. Хороший мальчишечка был, светловолосенький. Да, звезд с неба не хватал. Компания дурная его погубила, сам-то он не виноват.

— Это так про каждого тогда можно сказать, что он не виноват, — заметил Авдеев, убирая бутылку в морозильную камеру. — Один не виноват, что дураком вырос, другой не виноват, что на зоне чалился, третий по шучьему велению по миру пошел. Кругом невиноватые. Кто ж тогда в ответе, если не мы сами? Бог или, может, иное сверхъестественное существо, а?

Августа беззубо улыбнулась и стукнула Авдеева тростью по ноге:

— Взрослый лоб, а рассуждаешь, как дитя.

Авдееву слова показались оскорбительными, но отвечать на них он не стал. Присутствие на кухне старухи начало его раздражать.

— Ну так что, — подытожила Августа, — спуститесь ко мне, поглядите мебель?

— Иди, если хочешь, — равнодушно сказала Авдееву жена, — мне ничего не надо. Ты мне шкаф-купе обещал. Чую я, тебе только на шкаф-плацкарт и хватит с твоими-то доходами.

— Какие есть, — осклабился Авдеев.

Он открыл морозильник и удостоверился в том, в чем и так не сомневался, — бутылка остудиться не успела.

— Пойдемте, Августа Моисеевна, посмотрим, что да как.

* * *

Авдеев разулся в темной прихожей, пригладил реденеющие волосы перед зеркалом в деревянной тусклой раме и прошел в большую комнату.

Ничто здесь не привлекло его внимания,

кроме старого трельяжа, установленного у окна вдоль стены.

В трех зеркалах одинакового размера отражалась внутренность комнаты: двухдверный шифоньер с небольшим окошечком в левой дверце и вышивкой с розами за стеклом; тахта с прохудившейся тканью; высоченный книжный шкаф, заполненный не книгами, хотя на верхних полках ютилась пара собраний сочинений, а стопками каких-то желтых, с рваными краями газет, сервизом из голубых чашек и блюдец и тремя настольными часами разных моделей, очевидно, принадлежавших разным десятилетиям. В тумбе с кривыми, изогнутыми латинской литерой S ногами стояла настольная лампа с бордовым абажуром и советским гербом на его металлической части. В былые времена подобные светильники, украшавшие кабинеты важных людей, звались наркомовскими. Авдеев сразу прикинул, что скупщики старья сразу положили бы глаз на этот артефакт, проникни они в дом Августы.

Именно через зеркала трельяжа рассмотрел Авдеев всю комнату, после чего принялся изучать и его — красавца с двумя тумбами и столиком, перекинутым между ними. Под столиком выдвинутой ящичек. Авдеев осторожно потянул его на себя: внутри оказался старый гребень и какая-то скомканная бумажка. Пользуясь тем, что Августа скрылась в своей спальне, Авдеев с любопытством развернул бумагу и прочел: «Сегодня или никогда. На горбатом мосту в восемь. К.». Написанное крупным почерком послание взволновало Авдеева. Он словно прикоснулся к некоей давней тайне, какие бывают в хороших романах. Но спросить о ней было не у кого: не признаваться же Августе, что он слазил без спросу в ящик и бесцеремонно прочел чужую записку.

Что за мост имелся в виду, он в точности не знал. На ум ему пришли три моста в городе, которым вполне подошло бы определение «горбатый». Ближайший из них находился на соседней, Кольской улице и был перекинут через измельчавшую речку со смешным названием Попонка. Вероятно, свидание могло состояться именно там, тем более что Кольская улица издавна славилась своей красотой и романтическим духом, сохранив обаяние довоенной старины. Только в

самом ее начале, возле универмага, не так давно появились новые дома, изрядно подпортившие вид. Пройдет время, и эта участь постигнет и Кольскую, и другие улицы и улочки города. Город преобразится, стремясь выглядеть современно, предоставляя своим жителям возможность жить в комфорте нового образца, где человеку меньше всего хочется делать что-либо самому и он ждет, что всё или по крайней мере почти всё сделают за него другие, специально обученные люди. Преподнесут на блюдечке с голубой каемочкой, как говаривал отец Авдеева обо всем, что другим доставалось с видимой простотой.

Трельяж совершенно очаровал Авдеева, и он уже прикидывал, сколько средств понадобится, чтобы привести его в порядок. По первым же подсчетам — с ценами из головы — выходило слишком дорого. Потратить подобную сумму Авдеев попросту не мог — он действительно однажды себе на беду пообещал жене шкаф-купе. Но разве не уступит она, не согласится повременить с покупкой, когда увидит это зеркальное чудо? Нет, не уступит — сомнений никаких. Галя, как и сам Авдеев, устала от рухляди, окружавшей их годами: от раздвижного дивана с продавленными подушками, от стола с комплектом уродливых табуреток, от югославской стенки, готовой развалиться на части и кое-где сдерживаемой лишь скотчем. Все так, но всегда находится какое-нибудь экстраординарное «но», и сегодня оно обрело очертания трельяжа.

— Беру, — Авдеев указал пальцем на желанную вещь, когда Августа показала из другой комнаты. — Это что-то невероятное!

— Я знала, что ты выберешь именно его, — ответила старуха. — Мне даже хочется отказать тебе, ведь в этих зеркалах отражалась вся моя жизнь, — прибавила она, опираясь рукой на трельяж. — Но я не стану жадничать только для того, чтобы в них отразилось то, как меня выносят отсюда вперед ногами.

— Наговариваете на себя! — воскликнул Авдеев, не перебаривавший подобных разговоров. — Разве можно?

— Я старая бабка, мне и не такое позволено. — Она засмеялась и тут же зашлась в негромком скрипучем кашле. — Или ты скажешь, что я буду жить вечно? Нет, дорогой мой, я останусь здесь

навсегда. И когда придут крушить эти стены, я запрусь и не выйду. И тогда они начнут свое черное дело, а меня засыплет тем, что вы оставите наверху во время переезда.

— Всего-то нужно вызвать грузчиков, и они разберутся с вашими вещами и перевезут их в новый дом. Построили его удачно, — заверил Авдеев. — Никаких идиотских ступенек, чтобы подниматься к нему. А рядом разбили сквер, высадили сирень. Представьте, как будет красиво уже через пару-тройку лет.

Августа коснулась ноги Авдеева тростью, требуя замолчать. Она глядела на него снизу вверх, будто спрашивая: «Ты серьезно думаешь, что я протяну так долго?» Авдеев передернул плечами и отошел к книжному шкафу, делая вид, что и он может быть ему интересен.

— Книжки все раздала, — сказала хозяйка. — Чего хранить? Раз прочла — и довольно. Ничего нового на страницах не появится.

— Это вы жене моей скажите, — отозвался Авдеев, разглядывая статуэтку балерины на нижней полке. — Она любит по сто раз одно и то же перечитывать.

— Абсолютно глупое занятие, — заметила Августа. — А танцовщицу, на которую ты смотришь, зовут Варвара.

— Варвара? — переспросил Авдеев.

— Крайне похожа на одну девушку, что я знала в молодости. Такая же невесомая и хрупкая, как эта статуэтка. Точно ее копия. Варя жила в нашем доме на первом этаже, вон в той стороне, — старуха указала рукой. — Там, откуда неделю назад съехали Тамара и ее муж-скандалист, черт помнит, как его зовут.

— Василий Аркадьевич, — напомнил Авдеев.

— Этого знать не хочу, помнить не буду, — строго ответила хозяйка. — Возмущал он меня жутко. Не поздоровается никогда, а если и заговорит по какому делу, то в голосе вечный вызов. И грубый, без матерного словечка не обходится. Все у него через «ять». А вот жена у него хорошая, добрая женщина. Как его терпит, ума не приложу. Я бы давно такого палкой пристукнула, а если бы вякнул, второй раз для надежности приложила.

— Какая вы боевитая, Августа Моисеевна, — пошутил Авдеев.

— Я люблю добрососедство, — продолжила она невозмутимо. — А когда человек противо-

поставляет себя остальным, это натуральное свинство. Восемь квартир на дом, небольшое общество, так что будь любезен жить так, чтобы другим было с тобой приятно.

— Двадцать первый век, Августа Моисеевна, человек не такой, каким вы знали его при царизме.

Авдеева тянуло перевести беседу в шутовское русло.

— Ты, милый мой, не заговаривайся, — осекла старуха, — я при царе не жила. При Сталине жила, не отрицаю, но это не означает, что меня можно в динозавры записывать.

— Боже упаси, Августа Моисеевна! — заволновался Авдеев, что огорчил хозяйку.

— В общем, устала я от визитеров. Трельяж твой, забирай, как будешь переезжать. И точка. Теперь ступай. Я хочу отдыхать.

Противившись с нею, Авдеев вернулся к себе. Галя поджидала его с форменным допросом: отчего так долго, что дельного обнаружил, как выглядит, нужно ли брать? Выслушав мужа, постановила: «Ничего не берем. Свое бы в грузовик уместить».

В чем-то она была права: Авдеев и сам переживал, уместится ли их добро в кузов грузовика, не потребуются ли ездить во второй раз? Лишние расходы тут ни к чему. И как бы ни нравился Авдееву трельяж, при его скупости он не был готов платить грузчикам дважды.

* * *

Той ночью Августа не могла глаз сомкнуть. Она достала из ящичка скомканную записку, звавшую на свидание к горбатому мосту, и, перечитав написанное, погрузилась в воспоминания.

На улице давно смерклось. Горели в домах окна, и можно было разглядывать людей в них. Городской театр теней давно не завораживал Августу. Это раньше она могла часами наблюдать, как люди проводят вечера, как готовятся ко сну. Теперь к окну она обращалась только затем, чтобы выяснить, не собирается ли дождь. Квартиру она покидала редко — добредала до ближайшего магазина, шумно волооча за собою тележку, покупала столько еды, сколько могла увезти, и возвращалась в жилище. На все про все у нее уходило около двух часов.

Августа была дряхла и немощна, но взгляд ее по-прежнему оставался ясным, что нет-нет да и вызывало у встреченных ею людей полуулыбку. Она была маленькой старушкой с седыми непослушными волосами, норовившими выбиться из-под беретки. Часто ее вид порождал в людях чувство, будто она приходится им бабушкой или прабабушкой. Августа словно сошла с какой-то теплой картинки в детской книжке — такими, как она, изображают сердечных и искренних старушек.

Саму себя она представляла совсем иначе: стоя у пресловутых зеркал, Августа видела только морщинистую кожу, крючковатые пальцы, сгорбленную спину и впалый рот. Августа величала себя старой обезьяной и, глядя в не приукрашавшее мир зеркало, готова была плюнуть на собственное отражение.

Вспоминалась старухе Варечка Суханова. Дело до войны было.

Училась Варя в обыкновенной средней школе, углубленно изучала немецкий язык. Все считали ее красивой, хотя и излишне худой, словно недоедала она. Семья Вари впроголодь никогда не жила: отец ее был видным в области человеком, бывшим кавалеристом, награжденным различными медалями, достаток имел хороший. Рядом с огромным широкоплечим отцом гляделась девушка тростиночкой. Даже старшая сестра с матерью были крупнее ее. В кого она такая пошла, сказать невозможно.

Любила Варя покрасоваться перед зеркалом, и не было для нее большего удовольствия с утра, чем заглянуть в квартиру Августиной матери и занять позицию напротив трельяжа. Варя до того умела всех очаровать, что ей никогда не отказывали, и приходит она могла почти когда вздумается.

Самой Августе в ту пору было лет десять. Была она нескладной девочкой с вечно вьющимися черными волосами и некрасивым горбатым носом. Внешность Вари вызывала у Августы восхищение, и, когда соседка приходила повертеться перед зеркальным триптихом, Августа присаживалась чуть поодаль и наблюдала за ней, затаив дыхание. Уж очень ей хотелось стать такой же, как Варя.

Беззаботно щебеча перед зеркалами, Варя поверяла Августе все свои тайны, доверяла ей

секреты, словно близкой подруге. Августа внимательно слушала: и про многочисленных ухажеров, и про кипы писем с признаниями в любви, и про то, как молодой офицер приходил к ее отцу, Борису Захаровичу, свататься. Отец, конечно же, отказал и, по слухам, употребил все свое влияние на то, чтобы офицера отправили служить из-под города куда-нибудь подальше. Своей же дочери, учившейся в школе, строго наказал: никому больше поводов к подобным безрассудным поступкам не давать.

Августа слушала истории Вари — верила и не верила им. Слишком красиво Варя живописала свою жизнь. А она, Августа, ни разу не видала, чтобы какой-нибудь кавалер провозжал ее домой.

— Это потому, — объяснила как-то раз Варя, — что папаша прибьет любого, кого заметит рядом со мной. Очень обо мне печется. Чрезмерно, я считаю.

Августа подпирала круглые щеки руками и продолжала слушать рассказы соседки.

Однажды она спросила, отчего Варя все время ходит к ним, к их зеркалам. Неужели в их доме нет своих?

— Есть, конечно, — ответила Варя, — два маленьких. И подвешены высоко, чтобы отцу не приходилось нагибаться. А я у себя только макушку да часть лба могу разглядеть. Не самые нужные части головы, согласись.

Как-то раз, поздней весной, Варя пришла к ним сразу после школьных занятий, чего обыкновенно не бывало. Августа только заседала за домашние задания, и появление гостьи сбilo ее с толку.

Варя описала круг по комнате, даже не задержалась перед вечно влекшим ее трельяжем и опустилась на стул напротив Августы. Все движения и даже то, как вздрагивали ее ресницы, выдавали в ней страшное волнение. Августа молчала, прикусив кончик карандаша.

Варя сбегала на кухню, звякнула графином с водой и вскоре вернулась на место, вытирая губы тыльной стороной ладони.

— Очень жаркий день сегодня, — пояснила она.

На самом деле день был ветреным, а солнце то и дело скрывалось за облаками.

— Вот, прочти, пожалуйста, — Варя положила на стол записку.

— «Сегодня или никогда, — прочла Августа вслух. — На горбатом мосту в восемь». Подписано: некто Ка. И кто же этот таинственный автор?

— Я говорила тебе о нем, это Костя.

— Тот Костя, что с пристани, или Костя из милиции?

Августа спрятала улыбку, чтобы Варя ее не заметила.

— Тот, который с пристани. Очень хороший парень. Работящий. Руки сильные. А глаза...

— Красавец небось завидный, — немного подтрунивая, произнесла Августа.

— Мечта!

— И лучше милиционера!

— В сто раз! — воскликнула Варя. — Тот ему в подметки не годится.

— А ты говорила...

— Мало ли что, — перебила Варя. — Передумала уже.

— И что же, пойдешь ли на мост сегодня?

Варя опустила лицо.

— Пойду, — сказала она тихо.

— Ты так говоришь, будто событие для тебя безрадостно и сулит только мучения.

— Так оно почти и есть, — кивнула Варя. — Я себе поклялась, что если Костя позовет меня на свидание, я ему откроюсь.

— Как это? — не поняла Августа.

— Как откроюсь? Какая ты еще маленькая и глупенькая... Откроюсь — это значит, что признаюсь ему в своих чувствах.

— А какие у тебя чувства? — серьезно спросила Августа, закладывая страницы учебника карандашом и прикрывая его, чтобы не тяготиться мыслями о неразрешимости задачек.

— Самые серьезные чувства, уж поверь. Любовь. Если ты, конечно, знаешь, что это такое.

Августа пожала плечами и почесала кончик носа.

— Боюсь только одного: что не ответит он мне взаимностью.

— А ты попроси, чтобы ответил, — предложила Августа, чувствуя, что ее советы сейчас особенно важны.

— Нет, так не делается. И вообще, — Варя провела ладонью по столу, — девушка не должна признаваться в своих чувствах первой. Таков закон.

— Где же он записан? — уточнила Августа.

— В том-то и дело, что нигде. Это негласный закон. Его все знают.

— Я его не знаю, — весело сказала Августа, — так что смело признавайся. Я тебя поддерживаю.

Варя на секунду коснулась холодными пальцами Августиной руки, но ничего не сказала.

— «Сегодня или никогда...» — повторила Августа слова из записки. — Слишком самоуверенно. Я бы не пошла. Пусть помучается там, на мосту. Вот ты не придешь, а он начнет от обиды в воду плевать. А у огорченных людей слюна ядовита, так что половина города отравится. Представляешь?

— Да уж! — Варя повеселела. — Теперь ты не оставила мне выбора. Придется пойти, чтобы спасти город от опасности.

— Чудесно, — ответила Августа, раскрывая учебник. — Мне нужно заниматься. Иди, вертись у своих зеркал, а мне больше не мешай.

— Нет, — сказала Варя, — сегодня это не нужно. Сегодня я и без того знаю, что прекрасна и почти совершенна.

Противившись с девочкой, Варя выпорхнула из квартиры. Августа слышала, как она хлопнула своей дверью. Она еще долго сидела неподвижно, представляя, как в городских сумерках на горбатом мосту застыли две фигуры. И не просто так застыли, а в поцелуе.

* * *

Варя не вернулась домой ни вечером, ни утром. О том, что она исчезла, Августа узнала вместе с матерью от позвонившего в их дверь участкового. Рядом с молоденьким милиционером стояла заплаканная мать и растревоженный отец Вари. Когда стали спрашивать о ней, Августа, заикаясь от волнения, поведала участковому обо всем, что ей было известно. Варина мать ударилась в истерику, упав на колени прямо на лестничной площадке, а Варин отец, статный отставной кавалерист, как стоял столбом, так и остался стоять, словно не понимая, что происходит.

Участковый как мог привел в чувство рыдающую женщину и пообещал, что приложит все силы, чтобы разыскать пропавшую девушку. Не обманул. Тело Варвары нашли в кустах неподалеку от горбатого моста. На трупе нас-

читали тринадцать ножевых ранений в грудь и живот. Тогда же задержали работника порта Константина Ш. Своей вины он не отрицал и признался в совершенном преступлении. На убийство его толкнула ревность: Варвара постоянно рассказывала ему о своих ухажерах, намекала, что легко может уйти к другому. «Ей только повод дай, она такое выкинет...» — рассказывал Константин.

В вечер убийства Варя поведала ему о каком-то армейском капитане, решившем на ней жениться и целовавшем ее под липами в городском парке. Константин не стерпел признания и, пользуясь темнотой и отсутствием прохожих, имевшимся при себе ножом убил Варю, после чего оттащил ее тело с дорожки в кусты.

Новость о гибели красавицы Варвары потрясла весь дом. Все жильцы сделали так тихи, словно покинули свои квартиры. Августа плакала и не могла остановиться. Подозревали нервное потрясение. Приглашали доктора, тот прописал капли и постельный режим. Капли приятно пахли, но были горьки и мало помогали.

На похороны Августу не пустили. Позже мать сказала, что лежавшая в гробу Варя была тоньше прежнего. «Такая молоденькая — оторопь при взгляде на нее брала...»

Примерно через год втайне от всех Августа съездила на кладбище и принесла на могилу Вари цветы, сорванные на полянке неподалеку. Они украсили небольшой холмик. Августа думала оставить там же записку с приглашением на свидание, не отданную в милицию, но унесла ее домой и спрятала подальше, чтобы лишний раз не вспоминать о том, как Варина «сегодня» столь трагично превратилось в «никогда».

* * *

Бока водочной бутылки заиндевели. Авдеев присел на табуретку, выковырял пальцем мелкую мошку из оставшейся с ужина стопки, налил до краев, звучно выдохнул и выпил. Без промедления он наполнил стопку во второй раз и повторил только что выполненное действие. Щелкнув выключателем на стене, он замер в кухонной темноте, где равномерно тикали круглые и глубокие, как тарелка супа, часы. Светился зеленый глазок на холодильнике, хлопотнуло и за-

молкло что-то в раковине, скрипнула сама по себе половица в коридоре.

Авдеев с ужасом вообразил, как послезавтра привычный порядок вещей нарушится: вещи покинут свои места, будут снесены вниз по лестнице и окажутся в кузове грузовика. Он отвезет их в новую жизнь.

Авдеев представлял себе список всего ненужного, от чего его жена решила отказаться, и выходило, что большая часть знакомых предметов останется тут, в старой квартире. Тут же предстал перед глазами новый дом — ключи от него Авдеев получил на неделе. Вот распахивается дверь, и вместе с Галей он входит в совершенно пустое помещение. Свисают с потолка на черных шнурах патроны для ламп; брошена на пол закольцованная змея телевизионной антенны; ярко светят не прикрытые ничем окна. Выглянешь в них — дух захватывает. Авдеев до сих пор не знал, как это — жить на двенадцатом этаже, владеть лоджией, пусть и смежной, каждый день подниматься на неторопливом лифте и иметь столько соседей, что все их имена ни за что не запомнишь. Новый двор, как и квартира, еще пуст: ни деревца — сплошной пустырь, заполненный строительными отходами. Однажды все вывезут на свалку, а что останется, то со временем погрузится в землю и станет достоянием будущих поколений археологов. Возникнут на пустыре детские площадки, взойдут деревья, появятся скамейки у подъездов. Все это вопрос недалекого будущего. Впрочем, более отдаленного, чем будущее его семьи.

С теми вещами, которые Галя пожелала сохранить, в новом доме будет голо и неудобно. Пройдут месяцы, прежде чем Авдееву удастся купить в дом все необходимое. Это в лучшем случае. Он не согласен с Галей, что следует начать все с чистого листа, потому что для этого у них нет никаких предпосылок. Ему даже хочется разбудить ее среди ночи и заявить о своем несогласии. Сам переезд для него — трагедия. Если не трагедия, то драма с потрясением, потому что Авдеев теперь явственно ощущает, как сросся с домом, стоящим на пересечении двух небольших улиц. Единственный способ вызволить его отсюда — вырвать с корнем, как вырывают какой-нибудь куст на даче, чтобы пересадить в новую почву. И корень этот будет долго болеть, не желая прижи-

ваться. Душа Авдеева — он точно знает — будет саднить месяцами, а то и годами. Сейчас, когда подействовала водка, принятая для успокоения, ему захотелось плакать, и он дал волю чувствам.

* * *

Удивительно, что при всем своем желании распрощаться со старыми вещами Галя собрала и упаковала две коробки женских романчиков, над чтением которых любил смеяться Авдеев. Его раздражала жена привычка читать и перечитывать всякую низкосортную дрянь. Сам Авдеев читал редко, библиотеки не нашёл, а то, что досталось в наследство от отца с дедом, без сожаления решил оставить в старом доме. Он даже перенес ненужные книги в соседнюю, уже опустевшую квартиру, пользуясь тем, что соседи доверили ему запасной комплект ключей.

В отличие от Авдеевых, Романовы забрали с собою на новое место почти все, не считая ржавой рамы велосипеда и стула с ножкой, замотанной синей изоляцией. Авдеев даже позвал Галю, чтобы та посмотрела, как дорожат своими вещами другие люди, но Галя только фыркнула и идти наотрез отказалась.

— Нам другие не указ! — заключила она.

Авдеев перенес последнюю стопку книг, отряхнул пыль с футболки и спустился к Августе.

Старуха долго не открывала, а когда наконец дверь скрипнула и в зазоре появилось измученное бессонной ночью лицо, Авдеев услышал сухой кашель, а следом несколько неприятных слов:

— Ничего я тебе не отдам. Уходи.

Дверь притворилась, щелкнула щеколда. Авдеев переступил с ноги на ногу:

— Как же так, Августа Моисеевна?..

Рассудив, однако, что старуха имеет полное право передумать, он вернулся к себе и принялся укладывать в коробки свой немногочисленный гардероб. Тут он ни разу не уступил жене, твердо отстояв каждую вещь и дав обещание, что каждую из них наденет впоследствии хотя бы один раз. В конце концов, для чего разоряться на шкаф-купе, если в него нельзя сложить свои рубашки, брюки и свитера?

Не спавшая всю ночь Августа утро провела у зеркала. Она оперлась на трость и глядела на себя

с безразличием, как смотрит на дождливый день сонная кошка. Чуть покачиваясь, старуха говорила сама с собою. Она спрашивала у себя, помнит ли того или иного человека, его имя, звание или должность; перебирала в памяти даты: кто и когда заселился в дом, кто и когда его покинул. Августе, похоже, удалось припомнить всех. Она мысленно собрала лица в воображаемый альбом, разложила снимки по десятилетиям и годам.

Первыми в альбоме шли ее родители: вечно молодая на фотокарточках мать и замазанное тушью лицо отца, которого Августа не знала. Были в альбоме соседские мальчишки и девочки, водившие с ней дружбу. Отдельное место, целую страницу, занимало лицо Вари Сухановой. Августа не могла себе ответить, отчего ее образ так отчетливо врезался в ее память, отчего легкомысленная Варя, полная ее противоположность, так часто являлась ей во снах. Были тут и Варины родители, и семейство Гурьяновых, и застреленный Бобылев, и Авдеевы. На Авдееве-деде Августа надолго задержала взгляд: он был красивым мужчиной с выразительным взглядом и бархатным голосом. Она помнила его почти дворянскую обходительность, хотя порой он не стеснялся выражений, как какой-нибудь захудалый грузчик. Сочетание благородства и чего-то мужичьего в нем было пленительней всего.

На последней странице альбома Августа поставила карточку своего непутевого мужа. Женаты они были недолго — около трех лет. Познакомились на производстве, долго женихались, потому что Августа, помня о том, что случилось с Варварой, не подпускала мужчин близко. Когда молодые люди поженились, интерес мужа к Августе быстро угас. Что именно разочаровало его, она не ведала. Добивалась от него, молила сказать, обещала исправиться, а он — молчок молчком. Он ушел, не сказав ни слова. Говорят, его видели на вокзале садящимся в поезд. Августа прокляла тот день, когда встретила его, и решила на подпольный аборт.

Других мужчин у нее никогда не было. После смерти матери она жила одиноко: одно время пыталась сдавать комнату, но ужиться с постояльцами не могла — каждый ей по-своему мешал. Одна жиличка чрезмерно болтала, другая громко храпела, третья привела мужчи-

ну, четвертая была круглой душой. На дуре терпение Августы иссякло.

Как текла ее жизнь по выходе на пенсию, никто не знал. Она редко выходила из дому. Порой ее можно было встретить на лестнице, и она охотно говорила со всеми, кто этого желал. Ее лицо нередко видели в окнах первого этажа — она смотрела на город.

Какой-то чужак, которому не давали покоя лавры Ромула, решил выстроить город на холмах. Вернее, начиналось все с заселения равнины — там, где теперь располагается железнодорожный вокзал. От него в три стороны разбегаются улицы, и центральная, ведущая прямо, названа Воскресенской.

Город постепенно рос, занимая все новые земли. Дома возводились на многочисленных окрестных холмах, вследствие чего появились повсюду лестнички и лестницы. Спускаться по ним было просто, тогда как восхождение вверх давалось далеко не всем. Тогда придумали устанавливать на самых длинных лестницах, между пролетами, скамейки для отдыха. Скамейка и лестница могли бы появиться на городском гербе, если бы не гигантская рыбина, изображавшаяся на синем поле уже несколько веков кряду.

* * *

В день отъезда Авдеевых шум на лестнице поднялся с раннего утра. Грузчики топали по лестнице невыносимо, то и дело сплевывали, дымили сигаретами, таскали поклажу со второго этажа на двор. Мебель выстроилась перед подъездом, почти перегородив выход. Росли башни из коробок. Опрокинулась на сиреневый куст, поломав ветки, деревянная стремянка. Занял весь тротуар широкий грузовик.

Авдеев не находил себе места и слонялся по подъезду и квартире, путаясь под ногами сердитых мужиков, то и дело напоминавших друг другу, что впереди еще три переезда и на последнем всем хана — профессорская библиотека. Чтобы хоть как-то оправдать свое присутствие на лестнице, Авдеев, смущаясь, сунул одному из работяг бутылку водки, и тот профессиональным движением спрятал ее за пазуху, довольно ухмыляясь.

Жена Авдеева оставалась в квартире, рассев-

шись в кресле, которое наметила выносить последним. Обозленный на все, всем раздраженный Авдеев, чувствуя разочарование в жизни и неумное беспокойство, сказал супруге, что ее, как царицу, вынесут вместе с креслом, и услышал в ответ нечто невероятно обидное.

За всей этой суетой никто не заметил, как Августа покинула свое жилище, тенью спустилась во двор и уселась на лавочке за горой коробок.

Она нарядилась в полосатое голубое платье, накинула поверх него шерстяную кофту, а на голову надела старинную шляпу с розовым цветком. Вероятно, одну из тех, что хранились в ее шляпных коробках. Вещь была не новая, минувшего века. Это ничуть не смущало старуху, не ощущавшую никакой своей причастности к современности.

— А вы когда же поедете? — спросил Авдеев, заметив старуху.

Он наклонил голову в знак приветствия, а Августа стукнула в ответ тростью по земле.

Авдеев нечаянно бросил взгляд на окна ее квартиры. Ему почудилось, что за стеклом что-то блеснуло — какой-то сполох, точно язык пламени или что-то похожее на него. Вслед за этим он заметил, что комнату, где он был совсем недавно, начало завлакивать дымом.

— Августа Моисеевна, по-моему, вы горите... — растерянно проговорил он.

Она ответила не сразу:

— Горит вся моя жизнь.

— Вы с ума сошли! — воскликнул Авдеев и метался перед домом. — Галя, Галя! — закричал он. — Звони ноль-один и срочно спускайся вниз. Бегом, я сказал!..

Пока пожарные тушили пожар, Августа продолжала сидеть на том самом месте, где ее обнаружил Авдеев. Она отрешенно смотрела куда-то вперед, намного дальше тех предметов, которые в беспорядке стояли перед нею. Приехавшие врачи не сумели вытянуть из нее ни слова и не знали, нужна ли ей помощь. Решили на всякий случай отвезти ее в больницу. Старухе помогли подняться на ноги, и, как только Августа встала, она ахнула без сил на руки врачей. Не позволив старухе упасть, они посадили ее на скамейку, достали носилки и перенесли Августу в машину.

Спустя час после того как пожар был потушен, вещи, которые успели вынести, отправились по новому адресу. Сбылась мечта Гали Авдеевой: все то, что она хотела похоронить в обреченном на снос доме, осталось в нем. Жаль ей было только мягкого кресла, в котором она восседала до последнего. Впрочем, пока дом стоит, за креслом всегда можно вернуться.

Филипп Александрович РЕЗНИКОВ

родился в Москве в 1981 году.

Окончил Литературный институт им. А.М. Горького

(семинар прозы С.Н. Есина).

Автор книг «Московский театр Олега Табакова.

История в тридцати сезонах» (2017),

«Московский театр Олега Табакова.

История в тридцати пяти сезонах» (2022).

Рассказы публиковались в журналах

«Наш современник», «Неман», «Звезда»,

а также в «Независимой газете».

В журнале «Север» публикуется впервые.

